

Предисловие ко второму изданию

Салем

19 марта 1850 г.

К большому удивлению автора, а также к немало-
му (в чем мог бы он признаться, не слишком боясь усугубить оскорбительность своих слов) его развлечению, он обнаружил, что вышедший из-под его пера и предваряющий «Алую букву» очерк с описанием общественной жизни колонии вызвал небывалое волнение в кругу всеми уважаемых граждан. Сожги автор здание таможни и погаси последние дымящиеся угли кровью того или иного достопочтенного лица из тех, к кому он, как, по-видимому, предполагается, питает особенно недобрые чувства, шум и то был бы менее яростным. Поскольку общее осуждение легло бы тяжелым бременем на совесть автора, в случае, если б согласился он, что осуждение это им заслужено, автор просит принять во внимание, что добросовестно перечитал страницы очерка, намереваясь подвергнуть переделке или вовсе исключить из текста все, что может считаться ошибочным, и тем самым сделать все, что в его силах, для умаления того ужасного зла, в котором его обвинили. Но, как ему представляется теперь, единственное, что можно поставить в вину автору и что характеризует данный очерк, — это бладушный тон повествования, юмор и абсолютная точность, с какой он воспроизводит свои впечатления от лиц, там описываемых. Что же до враж-

дебности, предубеждений и недобрых чувств, якобы питаемых к тем или иным лицам или же политическим установлениям, то такие обвинения автор полностью и решительно отвергает. Очерк этот, разумеется, можно было бы и опустить без большого ущерба как для книги, так и для публики, но, беря на себя труд написания этого очерка, автор был полон самых добрых намерений и преследовал, насколько это было в его возможностях, лишь одну цель — создание живой и правдивой картины.

Поэтому автор и осмеливается переиздать свой вступительный очерк, не поменяв в нем ни слова.

Таможня

Вступительный очерк к роману «Алая буква»

Примечателен тот факт, что, не имея склонности злоупотреблять рассказами о себе и своих делах — сидя у камина или же в кругу друзей, я дважды за всю мою жизнь все же уступал непреодолимой потребности обратиться к читателям напрямую.

В первый раз — случилось это года три-четыре тому назад — я совершил поступок, непростительный и вызванный бог весть какой причиной, понять ее ни благосклонному читателю, ни въедливому сочинителю не дано — я одарил публику описанием моей жизни в глубоком уединении и тишине Старой Усадьбы. Теперь же, ибо сверх всех моих ожиданий и никак не по моим заслугам мне случилось найти одного-двух слушателей в первом случае, я хватаю публику за пуговицу и рассказываю о трехлетнем моем опыте работы на таможне. При этом я, как никто другой, свято слеую примеру прославленного «П.П., приходского клерка»¹. Однако истиной мне кажется и то, что если он разбрасывает исписанные им листы, поручая их воле судьбы, автор в свой черед обращается не к тем многочисленным читателям, которые либо сразу же отложат книгу в сторону, либо вовсе не возьмут ее в руки, но к тем немногим,

¹ Имеется в виду Поль Прай, популярный в XIX веке комический персонаж, нахальный и злостный сплетник. — *Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.*

кто поймет его гораздо лучше большинства школьных его приятелей или тех, кто сопутствовал ему в дальнейшей жизни.

Встречаются, правда, авторы, которые позволяют себе излишество, пускаясь в такие откровения, которыми разумно делиться только и исключительно с тем единственным, чье сердце и ум полны к тебе неизменного сочувствия. Такие писатели воображают, что брошенная в широкий мир книга непременно отыщет отведенную от автора вторую его половину и тем дополнит круг его существования, завершив его недостающей частью. Но поскольку язык немеет, а мысль застывает, если говорящий не находит никакой связи со слушателями, то, может быть, и простительно воображать себе, что есть на свете друг, пусть и не близкий, но добрый и чуткий, который будет слушать рассказ, и что благосклонное внимание его способно растопить твою природную сдержанность, так что позволительно будет болтать обо всем, что на ум взбредет, рассказывая и о жизненных обстоятельствах, и о себе самом, оставляя все же сокровенное «я» за некоей туманной вуалью. До этих пределов и не выходя за их рамки, автор, на мой взгляд, может быть автобиографичным, никак не нарушая ни прав читателя, ни прав собственной личности.

В дальнейшем читатель убедится в том, что очерку этому свойственна черта, нередко встречаемая в литературе и ею узаконенная, — автор рассказывает о том, каким образом в его руки попала значительная часть последующих страниц, и тем самым подтверждает истинность всего изложенного в книге. Только желание определить мое место как всего лишь издателя или чуть больше, нежели издателя, этого наиболее многословного из моих сочинений и явилось истинной причиной моего прямого обращения к читателю для установления с ним личных отношений — только это и ничто другое.

Для достижения главной цели потребовались и кое-какие дополнительные штрихи. Ими я бегло обрисовываю жизнь, дотоле никем не описанную, и характеры людей, участвовавших в ней, среди которых был и я.

Полвека назад, в эпоху старого Кинга Дерби¹, центром всей жизни был шумный и оживленный порт. В наши дни порт превратился лишь в скопление обветшалых пакгаузов и не обнаруживает или почти не обнаруживает признаков какой-либо торговой деятельности. Изредка в меланхолических водах его в отдалении можно различить барку или бриг, привезший шкуры, или какая-нибудь шхуна, прибывшая из Новой Шотландии, сгружает на берег дрова. Так вот, у самого выезда из этого пришедшего в упадок порта, нередко затопляемого волнами прилива, там, где окаймленная густой травой и несущая на себе следы многих медлительных лет, тянется дорога, вдоль и за которой там и сям виднеются дома, здесь, с видом на сей безрадостный пейзаж из окон фасада, а значит, поперек гавани высится поместительное кирпичное строение. С высокого конька его крыши ровно в течение трех с половиной часов, начиная с девяти утра, возносится вверх колеблемый ветерком или уныло свисает в безветрие флаг республики, тринадцать полос которого расположены не горизонтально, а вертикально в знак того, что власть Дяди Сэма представлена здесь не военной, а только гражданской своей частью.

Фронтон здания, украшенный портиком из полудюжины деревянных колонн, имеет выступ в виде балкона; широкие гранитные ступени лестницы ведут с балкона

¹ Дерби, Элиас Хаскет (1739–1799) — богатейший купец Массачусетса, судовладелец, первым в Новой Англии наладивший торговлю с Китаем.

на улицу. Над входом распростер свои крылья огромного размера образчик американского орла. Грудь его прикрыта щитом, а в каждой лапе, как помнится мне, пучок молний и колючих стрел. Со свойственной ей вспыльчивостью, о чем свидетельствует свирепость ее клюва, выражение глаз и агрессивность позы, несчастная эта птица, как кажется, всем видом своим грозит бедой безобидным жителям мирного городка, в особенности предостерегая тех, кто осмелится вторгнуться в пределы, над которыми она распростерла свои крылья.

Невзирая на устрашающий вид птицы, многие даже и сейчас пытаются найти прибежище под сенью ее крыльев, полагая, по всей вероятности, что на самом-то деле грудь у птицы мягкая, как пуховая подушка. Но даже и в самом благостном настроении орел не склонен нежничать и рано или поздно, скорее рано, встряхнется и отбросит от себя птенчиков ударом клюва или запустив в них одну из колючих своих стрел.

Растрескавшийся тротуар и мостовая возле здания, которое мы вправе назвать таможней порта, обильно поросли травой, свидетельствующей о том, что люди не снуют здесь взад-вперед и деловая жизнь толп не собирается. Впрочем, иногда в утренние часы бывает здесь заметно некоторое оживление. В таких случаях какой-нибудь престарелый обитатель городка может предаться воспоминаниям о времени, предшествующем последней войне с Англией, когда Салем был портом настоящим, а не таким, как теперь, презираемым даже местными купцами и судовладельцами, позволившими причалам Салемского порта ветшать и осыпаться, потому что дела свои, товары и грузы переместили они в Нью-Йорк или Бостон, где те и не нужны вовсе, и незаметны в мощном потоке других. В такие утра, когда в порту находится одновременно несколько судов, как правило, африканских или южноамериканских, прибывших

или готовящихся к отплытию, лестница таможи гудит от множества торопливых шагов людей, снующих вверх-вниз по гранитным ступеням. Тогда вы встретите здесь и сможете приветствовать раньше, чем собственная его жена, загорелого, просоленного всеми ветрами капитана с потертой жестяной коробкой судовых документов под мышкой. Сюда заходит и его работодатель-судовладелец, веселый или сумрачный, любезный или угрюмый, в зависимости от результата только что завершившегося плавания — оставит ли оно его с прибылью в виде кучи золотых монет от хорошо проданного товара или же с несбытым грузом и неприятностями, избавить от которых никто не может и не желает. А вот и тот, кому в будущем предстоит превратиться в морщинистого седобородого и утомленного заботами делягу-купца, — хваткий юноша-клерк; уже познав вкус профессии, как вкусивший крови молодой волчонок, он начинает проворачивать на хозяйском судне собственные торговые дела, хотя по возрасту ему более пристало пускать игрушечные кораблики в пруду возле мельницы.

Еще один гость таможи — это матрос, отправляющийся в дальнее плавание, — ему нужен документ, а когда, бледный и изможденный, он из этого плавания возвратится, он будет просить здесь направление в больницу. Не следует забывать и о капитанах маленьких ржавых шхун, что возят дрова из британских владений. Хоть вид этих неуклюжих посудин, может, и не соответствует энергичной живости янки, но все же они вносят важный вклад в наш допотопный торговый промысел.

Собираясь все вместе, как это порою случается, и с добавлением ради разнообразия кое-каких случайных посетителей, все эти люди время от времени сообщают таможе некое оживление. Но чаще, однако, под-

нявшись по ее ступеням, вы увидите, у входа ли, если дело происходит летом, а в зимнее время или же в плохую погоду — внутри соответствующего помещения — лишь ряд достойных джентльменов, удобно устроившихся в старомодных креслах у стены.

Часто джентльмены эти дремлют, изредка перебрасываясь друг с другом словами, перемежаемыми то всхрапыванием, то сонным бормотанием, что обнаруживает полное отсутствие у них жизненной энергии, как это бывает у обитателей богаделен или кормящихся трудом других, словом, у тех, чья жизнь не требует личных усилий. Престарелые джентльмены, занятые, подобно Матфею, взиманием пошлин¹, хотя вряд ли они заслуживают апостольского призвания, — это таможенные чиновники.

Далее, по левую руку от парадного входа, расположена зала, или же контора — комната в пятнадцать квадратных футов с довольно высоким потолком; из двух арочных окон ее открывается вид на обветшалую пристань, в то время как третье окно выходит в узкий проулок, за которым можно разглядеть часть Дерби-стрит. Из всех трех окон видны лавки бакалейщиков, торговцев мелочным товаром, корабельной утварью, а также съестным; возле дверей здесь обычно толпятся, болтают и балагурят старые моряки и всяческая шушера, что вечно околачивается возле порта. Стены конторы, облупленные, грязные, затянуты паутиной; пол, как во всех прочих присутственных местах по моде былых времен, покрыт слоем серого песка, что еще больше усиливает впечатление запущенности и вызывает подозрения, что волшебные женские орудия — метла и тряпка — про-

¹ Согласно библейской легенде, апостол и евангелист Матфей до своего апостольского служения собирал пошлину на Тивериадском озере.

никают в это святилище крайне редко. Что же касается мебелировки, то в комнате находятся печь с внушительным колпаком вытяжки, старый сосновый стол с колченогим табуретом, два или три шатких стула с деревянными сиденьями, а также — немаловажная подробность! — подобие библиотеки: полки с десятком-другим сборников законов и постановлений Конгресса и объемистый справочник по налогообложению. Проходящая по потолку жестяная труба служит для сообщения с находящимися в других помещениях. И здесь же полгода тому назад бродил из угла в угол или же, сидя на колченогом стуле и опершись локтем на стол, проглатывал столбцы утренней газеты человек, хорошо знакомый вам, уважаемый читатель, тот самый, что любезно пригласил вас некогда в свой уютный тесный кабинет в западной стороне Старой Усадьбы, куда сквозь ивовые листья так весело проникали солнечные лучи. Однако теперь напрасно стали бы вы искать его здесь, расспрашивая, куда подевался сей поклонник «Локофокского наблюдателя»: метла реформ вымела его отсюда, и теперь другой, более достойный, заменяет его на этом служебном посту и вместо него получает жалованье.

Старый Салем, городок, где я родился и который считаю родным, хоть подолгу живал вне его и в детстве моем и в более зрелые годы, обладает или же обладал для меня притягательностью, силу которой я начинал ощущать, только когда покидал его. По правде говоря, городок этот — и само местоположение его на плоской и унылой равнине, и деревянные дома, по большей части или вовсе даже не претендующие на какие-либо архитектурные достоинства, и хаотичность планировки, и весь его облик, который, не отличаясь ни живописностью, ни оригинальностью, может быть охарактеризован не иначе как банальный, и его длинная главная улица, лениво тянущаяся через весь полуостров, от

Холма Висельников и местной тюрьмы в ее начале и до богадельни на другом ее конце, — все эти черты моего родного городка, вместе взятые, способны вызвать привязанность не больше, чем может это сделать доска для шашек с разбросанными по ней фигурами. Но все же, и несмотря даже на то, что гораздо счастливее бывал я во многих других местах, чувство, которое питаю я к старому Салему, за неимением других определений, вынужден я назвать любовью. Возможно, в сентиментальном чувстве этом повинны глубокие корни, которые издавна пустила в эту землю моя семья.

Вот уже два с четвертью столетия минуло с тех пор, как первый британский эмигрант, носивший мою фамилию, прибыл в этот затерянный в диких лесных дебрях поселок, постепенно ставший городом. И потомки его, здесь родившиеся и умиравшие, смешали бранный свой прах с этой землей, так что немалая ее доля стала мне родной, так или иначе, войдя в плотскую мою оболочку, в которой мне суждено, по-видимому, еще некоторое время разгуливать. Поэтому привязанность, о коей я толкую, в какой-то мере является чувственным влечением праха к праху. Мало кому из моих земляков близко это чувство, ну и слава богу, ибо, как говорят, частая пересадка укрепляет растение.

И однако чувство мое не лишено нравственной основы. Фигура прародителя моего, каковую семейное предание рисовало окутанной дымкой некоего мрачного величия, сколько я себя помню, всегда увлекала мое воображение. С нею связано и то теплое чувство, которое я питаю к прошлому, но отнюдь не к настоящему родного моего города. Мне кажется, что право мое на проживание в Салеме я получил не в силу собственных заслуг — они не так уж и известны и говорят жителям городка не больше, чем говорит им мое лицо, которое они столь редко видят, а увидев, не узнают, —

правом этим я обязан человеку, здесь похороненному, этому строгому, бородатому, в темных одеждах и островерхой шляпе предку, приехавшему сюда бог весть когда с Библией под мышкой и мечом в руке, человеку, гордо шествовавшему здесь по только что проложенной улице и бывшему всегда на виду как в мирное время, так и в дни сражений. Он был солдатом, законником, судьей, он правил местной церковью и обладал всеми чертами характера истинно пуританского, как достоинствами его, так и недостатками. Он был неутомим, как полагается пуританину, в искоренении человеческих пороков, и, как свидетельствуют квакеры в своих воспоминаниях, память об особой жестокости его по отношению к одной женщине из их секты, надо думать, надолго переживет рассказы о добрых его делах, коих было немало.

Сын его унаследовал отцовскую непреклонность и жестокость, а роль, которую он сыграл в процессах над салемиками ведьмами и кровь этих несчастных покрыли его, как можно смело утверждать, несмываемым пятном позора. Пятно это въелось в него столь глубоко, что даже кости его на кладбище у Чартер-стрит, если только они не истлели окончательно, должны были сохранить на себе его след. Не знаю, испросили ли мои предки прощение у Неба за все свои жестокости или даже теперь, пребывая в ином мире, все еще стонут под тяжестью грехов своих. Так или иначе, но пишущий эти строки, берет на себя, как их представитель, стыд за их позор и молится за них, дабы души их отныне были избавлены от тяжести проклятия, говорят, вполне им заслуженного, как заслуживают его грехи всех тех из нашего рода, кто жил в то далекое и сумрачное время.

Не сомневаюсь, однако, что каждый из этих суровых и мрачных пуритан счел бы достаточным наказанием за грехи уже и то, что по прошествии долгих лет старый, почтенный и замшелый ствол фамильного древа